

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кукольник - Щепкин - Глинка - Знакомство с Белинским - Гоголь

Выбор пьесы для бенефиса всегда очень озабочивает артистов, и обыкновенно хлопоты начинаются за три месяца.

Был писатель-драматург Бахтурин, которому многие артисты заказывали пьесы для своего бенефиса. Мать моя тоже заказала Бахтуру драму для своего бенефиса. Он был мастер составлять эффектные афиши, - в его пьесах всегда было много действия с разными названиями. Бахтурин взял деньги вперед, но запил и ничего не писал. Тогда моя мать поступила с ним очень энергично. Она пригласила его обедать и заарестовала у себя. От Бахтурина были отобраны сапоги, сюртук; ему дали халат и туфли отца и заперли в кабинет, посылая для вдохновения утром и вечером по большому графину настойки. Бахтурин в несколько дней написал драму и был освобожден из-под ареста [050].

Меня очень интриговало, как это мать посадила под арест сочинителя и как он там сочиняет. Я выпросила у лакея графин с водкой, чтоб войти в кабинет.

Бахтурин был небольшого роста, с одутловатым лицом и всклокоченными, длинными, густыми, каштановыми волосами.

Завидев меня с графином, он встал со стула и, потирая руки, сказал:

- Вот спасибо, умная девочка, принесла графинчик. Меня ваша мамаша наказала... А вас наказывают?

- Да, только водки не дают! - отвечала я. Бахтурин замялся и, налив рюмку водки, продолжал:

- Пью за ваше здоровье! Вырастите большой и если вам придется тоже заказывать писать пьесы для вашего бенефиса, так вы не арестовывайте сочинителя, как ваша мамаша. Право, это не хорошо!.. Приносите мне всегда графинчик; я поболтаю с вами, это мне будет отдыхом, а то сиди один да все пиши.

Но мне не позволили более носить графин Бахтуру и даже побранили лакея за то, что он исполнил мою глупую просьбу.

К отцу приезжал также Н.В.Кукольник, когда ставили на сцене его трагедию "Рука всевышнего отечество спасла", кажется, в бенефис Каратыгина; впрочем, наверно не помню. Наружность Кукольника была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами, и держал голову нагнувши; лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами; глаза маленькие, с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросающиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту.

В первый год моего замужества, он был у Панаева несколько раз вечером, вместе с своим братом, очень похожим на него, и с Брюловым, знаменитым художником. Бывали и другие литераторы, но я их не помню. Я не присутствовала на этих вечерах, но, разливая чай в столовой, слышала, как ораторствовал Кукольник своим протяжным, громким голосом.

У Кукольника назначены были дни раз в неделю, и Панаев сначала посещал его, но потом перестал бывать, Панаев рассказывал, что на этих вечерах Кукольник за ужином, выпив вина, говорил: "Кукольник велик! Кукольника потомство оценит!" У Кукольника на этих вечерах было очень мало литераторов, собирався преимущественно чиновный люд, который преклонялся перед ним, считая его великим талантом.

Не могу сказать, как отец познакомился с девицей-кавалеристом Александровой (Н.А.Дуровой). Она приехала к нему и пожелала видеть всех его детей. Мать привела ее в нашу

комнату. Я знала, что она была на войне и ранена. Александрова уже была пожилая и поразила меня своей некрасивой наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурилась глаза, и без того небольшие. Костюм ее был оригинальный: на ее плоской фигуре надет был черный суконный казакин с стоячим воротником и черная юбка. Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские; она села на диван, положив одну ногу на другую, уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала [051].

Композитор Верстовский, когда приезжал в Петербург, бывал у нас. Он тогда был директором московского театра. Репина, актриса московского театра, всегда приезжала вместе с Верстовским. Она считалась хорошей артисткой. Оба они уже были пожилых лет [052]. Наружность Верстовского как-то ступевалась в моей памяти; помню одно, что в его наружности ничего не было особенного: росту он был среднего, сухощав, с зачесанными височками - и на лбу небольшой хохолок.

Я больше рассматривала Репину. Она была брюнетка среднего роста, ни толста, ни худая. Черты лица не крупные, глаза черные или темные, но блестящие, зубы белые, и когда она улыбалась, то ее лицо делалось красивым. Говорили, что Репина имеет большое значение в московском театре и что по ее милости дочь Щепкина не была принята на московскую сцену.

Но возвращаюсь назад. Отец был очень озабочен выбором пьесы для своего бенефиса и очень обрадовался, когда молодой литератор Иван Иванович Панаев привез ему свой перевод "Отелло" Шекспира. Отец виноват в том, что над Панаевым впоследствии смеялись, что он, не зная английского языка, поставил на афише: "Отелло, перевод с английского". Панаев сказал отцу, что переводил с французского, но что его приятель, знающий хорошо английский язык, поверял с ним каждую фразу с английским текстом. На афише и был выставлен перевод с английского.

Отец не знал, кому дать роль Дездемоны. Молодые артистки того времени усвоили себе водевильную дикцию и манеры. Не могу сказать, сам ли отец надумал, или ему кто подал мысль, но он дал разучить роль Дездемоны старшей моей сестре и, прослушав ее, решил, что она может сыграть эту роль. Отец много с ней занимался.

В.А.Каратыгин играл Отелло, отец - Яго, мать - его жену. Наружность сестры подходила к роли Дездемоны; она была очень красива, высокого роста, голос имела звучный, так что дебют сошел очень удачно. Сестра была принята на сцену, но недолго оставалась, потому что вышла замуж.

Старшие мои сестры и тетки вели затворническую жизнь, всегда сидели в своей комнате, им не дозволялось входить в залу, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу "Жизнь за царя", и у нас устраивались спевки и репетиции; приезжали Петров, Воробьева, Л.И.Леонов (Шерпантье), Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова Миша (еще студент), камер-юнкер Д.П.Хрущев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы барон Е.Ф.Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен пренаивно приписывал успех оперы Глинки своим стихам [053].

Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен, тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение.

Глинка иногда посреди пения тенора Леонова с силою ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояле. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу

после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха, только одна Воробьева споет роль Вани, как следует.

- Это редкая певица, - говорил он, - такие голоса появляются на сцене веками. Надо ее беречь, как драгоценность! А она, вот, в дождь, в слякоть, поехала домой на извозчике, ну, долго ли ей простудить горло! Дирекция ваша олухи, такой певице надо было бы назначить большое жалованье, а не грошовое, чтоб она имела комфорт! Дураки!..

Глинка горячился, говоря это.

- Разве Петровым вы недовольны? - спросил отец.

- Чувства нет, голос деревянный!.. Степанова поет верно и голос большой - огня нет! А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса - он сипит!

Однако успех "Жизни за царя" был блистательный. В первые годы моего замужества, т.е. в начале сороковых годов, Глинка как-то периодически бывал у нас: то зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс: "В крови горит огонь желаний". Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек гостей. Панаев

любил читать стихи и прочел это стихотворение между другими стихами Пушкина. Глинка, расхаживавший по комнате, сел за фортепьяно и стал брать аккорды, что-то мурлыча про себя. Через несколько минут он сказал: "Панаев, замолчи!" - и пропел романс. Голоса у Глинки совсем не было, но он пел мастерски и выразительно [054].

Глинка не мог обойтись без вина, и когда приходил, то требовал себе коньяку и попивал его рюмка за рюмкой, вместо чая.

Раз Глинка приехал к нам вечером, поспешно поздоровался, сейчас же сел за фортепьяно и стал играть "Лезгинку" из "Руслана". Проиграв ее, он встал и сказал:

- Ехал к вам, не давал мне покоя этот мотив, так вот и звенит в ушах.

В 1844 году, в первую мою поездку за границу с мужем, в Париже мы встретились с Глинкой; он приходил к нам по вечерам с несколькими общими знакомыми, русскими путешественниками, пить чай и, по русскому обыкновению, засиживался до 2 и 3 часов ночи. В Париже, по окончании театра, улицы делаются пустыми, в домах все жильцы ложатся спать и водворяется тишина; а у нас, при уходе гостей, всегда происходил шум, потому что Глинка, выпив, не мог идти сам по винтовой деревянной лестнице, сильно навощенной. Он сердился, зачем его ведут под руки с лестницы. В глубокой тишине гулко раздавались голоса. Двери у жильцов открывались, высовывались головы, повязанные пестрым фуляром или в белых колпаках, и в ужасе спрашивали: "пожар в доме?".., "горит?"... Их успокаивали, и головы исчезали с бранью.

Иногда я отказывалась давать много вина Глинке, но он приставал к Панаеву, который и исполнял его желание.

Глинка жалел, что в нашей парижской квартире не было фортепьяно; ему часто приходила охота петь. Иногда он жаловался, что вдохновение его оставило.

- Бывало, покоя нет, так и звучат в ушах разные мелодии, а теперь только пустой шум гудит.

Глинка гораздо ранее нас уехал из Парижа. Весной, в пятидесятом году, я поехала, по предписанию докторов, брать морские ванны. В Варшаве я остановилась отдохнуть. Утром я поехала осматривать город; проводник из отеля, сопровождавший меня, привез в Саксонский сад, расположенный в центре города. В известные часы в Саксонском саду много гуляющих, и я встретила петербургского знакомого кн. А.М.Голицына, которого более года не видала, хотя и

знала, что он сделался варшавским жителем, но не нашла нужным извещать его о своем прибытии, так как на другой же день намеревалась уехать. После обычных расспросов, Голицын сказал мне:

- Знаете ли вы, что Глинка здесь?

Голицын был большой поклонник Глинки, они вместе бывали у нас в Петербурге. Я знала о плохом состоянии здоровья Глинки и спросила о нем.

- Очень плохо! - с грустью ответил Голицын, - вы его не узнаете, так изменился он и физически, и нравственно. Он наверно захочет вас видеть, когда узнает, что вы здесь [055].

- И я буду рада его повидать, - отвечала я, - пусть приезжает вечером, потому что я завтра уеду из Варшавы.

- Нет, вы должны остаться хоть еще на день, потому что я вас буду просить свести Глинку в театр посмотреть, как танцуют мазурку на варшавской сцене. Я его упрашивал, но он не хочет, а вам не откажет.

Я согласилась остаться еще на день, чтобы ехать в театр. Вечером Голицын приехал ко мне с Глинкой. Я не могла скрыть своего удивления при виде Глинки: это был совершенно другой человек. Он казался полным, лицо его было одутловато и желто-синеватого цвета; взгляд апатичный, прически прежней не было, волосы лежали прямо и вдобавок он отрастил себе усы. Прежней живости в его движениях не было и помину; он тяжело дышал, поднявшись в мой номер, тогда как нужно было сделать всего несколько ступенек; голос у него был глухой, сиповатый, и он уже не закидывал задорно своей головы.

- Что, я сильно изменился? - спросил Глинка меня. - Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, ведь до меня дошел слух, что вы уж скончались. Я очень жалел.

- Да, зимой я была опасно больна, но отдумала умирать, - смеясь, ответила я.

- И отлично сделали, скверно умирать, - сказал Глинка.

Я предложила ему красного вина. Глинка улыбнулся и заметил:

- По-старому думаете, что Глинка и вино неразлучны!.. Нет, спасибо, я теперь на стакан воды чуточку наливаю красного вина.

Подали самовар, я стала разливать чай. Глинка, до этого разговаривавший как-то вяло, как бы одушевился и сказал:

- Как вы мне напомнили прошлое, когда я пивал у вас чай, впрочем, вернее сказать - коньяк... А помните нашу встречу в Париже? Как мы у вас засиживались до двух, трех часов... Вы часто хитрили, говоря, что нет больше вина, а оказывалось, что оно есть... И хорошо бы вы сделали, если бы не давали мне пить столько вина!.. На что я теперь похож!

Я поспешила переменить разговор и напомнила ему, как он ставил свою первую оперу и репетировал ее с певцами у моего отца.

- Как не помнить, тогда во мне жизнь была ключом, я тогда воображал, что десятки опер сочиню... Как только выздоровлю, запрусь в деревне и наверстаю потерянное время... Удивлю всех, мои оперы будут ставить на сцене одну за другой... Только бы мне стряхнуть с себя эту мерзостную полноту.

Голицын завел разговор о театре в Варшаве. Я стала просить Глинку поехать со мною в театр, но он на это ответил:

- По правде вам сказать, меня теперь ничто не интересует.

Но я продолжала его упрашивать.

- Хорошо. Я поеду с вами, только с одним условием: вы несколько дней поживете в Варшаве, а я к вам вечером буду приезжать пить чай да вспоминать прошлое.

На другой день утром Голицын заехал ко мне на минутку известить, что он с Глинкой заедет за мной и мы вместе поедem в театр.

- Мазурку будут танцевать после драмы, - объявил он мне.

Я решила ехать попозже в спектакль, чтобы не утомить Глинку.

Глинка не заметил нашей хитрости, что мы за самоваром просидели довольно долго, стараясь развлечь его разговором.

Мы приехали к последнему акту драмы. Ложа наша была у самого края сцены, так что у нас только с одной стороны были соседи. Голицын сказал нам, что возле нашей ложи будет сидеть жена наместника с сыном. Я слышала, что она была сестра Грибоедова, и посматривала на нее, отыскивая в ней сходство с братом, но не нашла [056]. Княгиня Е.А. Паскевич была рослая и полная женщина, пожилых лет, брюнетка, с резкими чертами и с надменным выражением лица. Ее сын Федор, очень худенький, но красивый юноша, казался еще тоньше перед матерью. Он был в офицерском мундире.

Я заметила, что из лож и из первых кресел партера зрители смотрят в бинокль на Глинку; но он этого не видел. Усевшись рядом со мной на первом месте, он положил руки на борт ложи и сонливо смотрел на всех.

Голицын разговаривал с нашими соседями. Глинка безучастно глядел на игру артистов и даже, как мне казалось, подремывал. Публика в партере преобладала военная, и в ложах сидело много русских дам.

Кончилась драма. Глинка, как бы обрадовавшись, спросил меня: "Домой едем?" Но я ему объявила, что непременно хочу видеть, как танцуют мазурку поляки.

- Вот деспотка! - заметил Глинка и опять принял свою прежнюю позу. Но при первых звуках оркестра, который заиграл мазурку из "Жизни за царя", Глинка восторженно, апатия его исчезла. Как только оркестр умолк, в первых рядах кресел все встали и, обратись к нашей ложе, начали аплодировать.

Глинка сначала не понял, что ему делают овацию, и с удивлением вопросительно поглядел вокруг. Я поспешила встать и оставить его одного. Княгиня Паскевич, смотря на Глинку, слегка похлопала в ладоши. Глинка поклонился публике, тогда еще сильнее раздались аплодисменты; русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали.

Видя сияющее лицо Голицына, я догадалась, что все это устроил он; вот почему ему так и хотелось затащить Глинку в театр.

Голицыну было легко устроить овацию: он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству, и в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре и ему следует оказать приветствие от русских.

Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты.

Когда начались танцы, Глинка мне сказал:

- Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого?

Он не поверил, что я не была участницей в этом деле.

После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка, видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть, от слабости, и дремал. Ночь была очень темная, на неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Голицын объяснил мне, что это проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика, возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки; оседланные лошади находились тут же, недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца.

Когда меня подвезли к отелю. Глинка, прощаясь со мною, сказал:

- До завтра, заговорщица!

Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дому несколько дней, а я уехала из Варшавы.

Это была последняя моя встреча с Глинкой.

Со дня моей свадьбы, бывшей в 1839 году, я рассталась с театральным миром. Впрочем, в Москве, куда мы с мужем поехали тотчас после венца, я в доме Михаила Семеновича Щепкина видела московских артистов. Сергей Васильевич Шумский (Чесноков) тогда был молодым человеком.

Я слышала из соседней комнаты, как Щепкин учил его дикции и отучал от природного недостатка в выговоре:

Шумский тогда заметно шепелявил. Щепкин заставлял его по несколько раз повторять одно и то же слово.

- Михаил Семенович, - говорил Шумский, - право не могу лучше выговорить!

- Врешь, трудом можешь поправить природный свой недостаток, будешь произносить хорошо.

И точно, Шумский впоследствии едва заметно шепелявил.

Я познакомилась с комиком Живокини [057] и с некоторыми второстепенными артистами, фамилии которых не помню.

Из семейства Щепкина я знала одну младшую его дочь, которую застала в постели; у нее развилась сильнейшая чахотка. У Щепкина было несколько взрослых сыновей, уже студентов, а старший сын окончил университетский курс. Но кроме сыновей, Щепкин воспитывал троих племянников, оставшихся малолетними сиротами после смерти своих родителей. Племянники тоже были студенты. Старшая дочь Щепкина была болезненная девушка.

У жены Щепкина было очень доброе, оригинальное лицо. Она была турчанка и маленькой привезена каким-то барином в Россию: ее окрестили в православную веру, она воспитывалась в барском доме и из него вышла замуж за Щепкина.

В семействе Щепкина жили две пожилые его сестры, которые меня поразили, когда меня привели наверх в их комнату познакомиться с ними. Они сидели на кроватях, поджав ноги по-

турецки, с длинными чубуками; обе они были маленького роста, очень полные, и имели вид огромных мячиков. Не понравились они мне; потом я узнала, что эти две пожилые девицы много делали неприятностей своим племянницам и их кроткой матери. У Щепкина жила тоже и его старушка-мать; она уже превратилась в ребенка от старости лет и целыми днями играла в дурачки, для чего при ней находилась бедная старушка-компаньонка, которая должна была всегда оставаться в дураках, иначе ей доставалось от капризной благодетельницы, выгонявшей ее вон из комнаты и попрекавшей куском хлеба.

Сыновья Щепкина предупредили меня, чтоб я на вопрос их бабушки отвечала, что не умею играть в дурачки, а то она сейчас же засадит играть с собой. Бабушка удивила меня своим вопросом, когда меня отрекомендовали:

- Чьих?

Внуки ей отвечали что-то за меня. Бабушка, бывши сама прежде крепостная, задавала этот вопрос всякому новому лицу [058].

Она обижалась, если ее не знакомили с гостями, но за старостью на другой же день забывала гостью и снова обращалась к ней с вопросом:

- Чьих?

Я привыкла в своем большом семействе видеть огромные блюда за столом, но и меня удивила громадность блюд в доме Щепкина. Впрочем, за столом сидело множество народа; кроме своего большого семейства, всегда обедали гости и бедные студенты, являвшиеся каждый день, по три, по четыре человека, обедать к Щепкину. В прежнее время учащийся бедняк всегда находил, где пообедать. К нашему отцу тоже ходили два студента каждый день обедать года два подряд, но им подавался обед отдельно.

Самовар подавался у Щепкиных такой громадный, что пар от него валил, как из тендера.

У Панаева было много знакомых в Москве, и он утром делал визиты, а вечером был приглашаем к кому-нибудь в гости. Панаев очень много хлопотал, чтобы московские писатели доставляли свои статьи в "Отечественные Записки".

Я видела многих московских литераторов, которые сотрудничали в "Отечественных Записках": Н.Ф.Павлова, его жену, Н.А.Мельгунова, Д.М.Перевощикова, А.С.Хомякова, М.Н.Каткова и К.С.Аксакова. С ними со всеми я хотя познакомилась, но ни с кем не вступала в разговоры по своей робости.

С первым из литераторов я познакомилась с Белинским, на другой же день моего приезда в Москву. Панаев завез меня к Щепкиным, а сам отправился к кому-то на вечер, где должны были собраться московские литераторы. Старшая дочь Щепкина чувствовала себя нездоровой, лежала в постели у себя в комнате наверху и прислала брата за мной. Я нашла в ее комнате молодежь. У печки, прислонясь, стоял белокурый господин; мне его представили, - это был Белинский. Он не принимал участия в общем разговоре, только понюхивал табак, но когда зашел разговор об игре Мочалова, Белинский заговорил, и я запомнила его сравнение игры двух артистов.

- Смотри на Каратыгина, - сказал он, - ни на минуту не забываешь, что он актер; а в Мочалове представляется человек со всеми его достоинствами и пороками.

С Белинским я стала видаться каждый день, он приходил к нам утром, пока еще Панаев не уезжал с визитами, и постоянно беседовал о литературе.

Белинский смотрел на меня, как на девочку, чем я тогда в сущности и была, поддразнивал меня, чем мог. Я сердилась, ссорилась с ним, но скоро мирилась [059].

Мы жили на Арбате. Белинский нанял себе комнату от жильцов - против нашего дома, во дворе - и пригласил нас на новоселье пить чай. Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная. Я вошла и удивилась, увидя на окне и на полу у письменного стола множество цветов.

Белинский, самодовольно улыбаясь, сказал:

- Что-с, хорошо?.. А каковы лилии? Весело будет работать, не буду видеть из окна грязного двора. Любуясь лилиями, я спросила Белинского:

- А должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату?

Белинский вспыхнул (он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел).

- Ах, зачем вы меня спросили об этом? - с досадою воскликнул он. - Вот и отравили мне все! Я теперь вместо наслаждения буду казниться, смотря на эти цветы [060].

Панаев его спросил:

- Почему вы будете казниться?

- Да разве можно такому пролетарию, как я, позволять себе такую роскошь! Точно мальчишка: не мог воздержаться себя от соблазна!

Денежные средства Белинского тогда были очень плохи. Панаеву очень хотелось, чтобы Белинский сделался постоянным сотрудником "Отечественных записок", в успехе которых он принимал самое живое участие. Панаев тогда отдавал в этот журнал свои повести даром. Впрочем, не он один, а были другие литераторы, которые делали то же самое. Вот какие были в те времена аркадские взгляды в литературе.

Константин Сергеевич Аксаков привез свою старшую сестру познакомиться со мною. Я была очень сконфужена, принимая в первый раз визит, но они оба сумели побороть мою робость. Аксаков мне с первого раза очень понравился, в его лице было такое открытое выражение, такая простота в манерах, что моя робость исчезла. Аксаков был рослый, широкоплечий молодой человек; его каштановые волосы слегка курчавились. Его нельзя было назвать красивым, но лучше всякой наружной красоты отражались на его лице душевные качества. Марья Сергеевна тоже была очень симпатичная. Они нас пригласили обедать от имени матери и отца. Как ни понравились мне оба молодые Аксаковы, я чувствовала робость ехать к старикам Аксаковым, но должна была ехать, потому что Панаев сказал мне, что это необходимо.

Собственный дом Аксаковых, кажется, был на Арбатской площади. Я помню хорошо, что против их дома стояли большие весы и валялись клоки сена на площади.

В зале нас встретили старики Аксаковы и были очень приветливы ко мне. Пришла Марья Сергеевна и сказала отцу и матери:

- Идите к гостю в кабинет, а мы пойдем в сад.

Сад для города был очень большой, и в нем было множество белых, махровых роз.

Мы уселись в беседке и заговорили о сочинениях Гоголя.

Марья Сергеевна благоговела перед его талантом и сказала мне:

- К нам неожиданно сегодня приехал обедать Гоголь; вот вы увидите самого автора.

Нас позвали обедать. Марья Сергеевна, идя в комнаты, сказала:

- Я вас должна предупредить, чтобы вы не удивились, если вам не представят Гоголя. Он не любит теперь никаких новых знакомств, особенно с дамами. Он такой стал болезненный, нервный, не может выносить даже за столом шума, так что меньшие мои братья и сестры сегодня обедают отдельно.

Я была очень довольна, что избавлюсь от представления мне Гоголя. Я очень конфузилась в такие минуты. Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. Хозяйка дома усадила меня возле себя, а по другую сторону посадила Гоголя; ему было поставлено вольтеровское кресло. На противоположной стороне сидел хозяин дома с сыном и Панаевым. Трудно было иметь более сходства, какое я нашла у Аксакова-сына с отцом. Подростки сыновья сидели между Панаевым и Гоголем, а возле меня Марья Сергеевна и ее сестра лет 14.

У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым.

Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола.

Марья Сергеевна пригласила меня пойти посмотреть, как дети на лужайке играют в серсо. Я пошла с ней; она меня спросила, какое на меня произвел впечатление Гоголь. Я с наивной откровенностью ответила, что он, должно быть, очень сердитый и капризный. Она стала разуверять меня, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе.

Я, Марья Сергеевна [Об1], молодой Аксаков и Панаев приняли участие в игре детей, а старики Аксаковы сидели на скамейке и смотрели на нашу игру. Через полчаса мы распростились с радушными хозяевами.